



Если бы это диковинное **раздвоение** личности Михоэlsa прозвучало у Зускина однажды, эмоциональным взрывом, яростной обмолвкой, — если бы это раздвоение не стало главным мотивом самозащиты, можно было бы не слишком задерживаться на этом, отнести это к продолжением театральным спорам и свар. Ведь множество раз за кулисами ГОСЕТа напоминалось об ошеломлении Михоэlsa, когда в гольдфаденовской "Колдунье" выше всего другого засверкал талант Зускина в роли самой Колдуньи, и Зускин, потрясенный своей невольной дуэлью с Соломоном Вовси, с Михоэлсом, заговорил о том, что "начиная с 1922 года он не мог мне простить, что мое имя становится рядом с его именем, и ненавидел меня, и продолжал меня ненавидеть до самой своей смерти."

Я придиричиво вычитал и выписал от руки из архивных томов все резкие, развернутые или вскользь оброненные критические оценки личности Михоэlsa в показаниях Зускина. Оценки эти столь многочисленны, что, кажется, мысли и память Зускина болезненно сосредоточились на этом, на почти маниакальной решимости внушить миру мысль о реальном существовании двух Михоэлсов, — великого актера Соломона Михоэlsa и тиранящего его Соломона Вовси.

Не сразу Зускин обрел на Лубянке ясность взгляда, странную, обманчивую и все же реальную для него ясность взгляда. Не сразу понял, что Михоэлс так же мало виноват перед человечеством и перед еврейским народом, как и сам он, Зускин. Разбуженный в камере на Лубянке, он услышал для начала, что он "**жид**", грязная еврейская скотина, пархатая словоч" и все такое прочее. Его в больничной пижаме поместили в страшный мир, заперли так бесчеловечно, что в пору было поверить любому злодейству, фальшивым, сработанным Фефером "признаниям", давно умерщвленного Михоэlsa. Ушли месяцы на то, чтобы погасить гнев и ярость против убитого в Минске собрата, падавшего в омут вымышленного злодейства и увлекавшего за собой "двойника", свое "эхо". Что ж, самонадеянный Лир погубил свою жизнь, не подумав о судьбе пуга!

Брошенный в застенки, оторванный от жизни, стократно обманутый лишенный возможности судить об окружающих хотя бы по чужим обмолвкам, по страху, мелькнувшему в зрачках, или по искре надежды, тут же и погасшей, по неосторожно вырвавшейся интонации, Зускин сотворил воистину гениальную систему самозащиты, и одновременно — гражданской защиты Михоэlsa.

Великий актер, хитроумный и простодушный, пронзительный и мудрый, создал свою защитную броню, подобную которой не знали ни судебная практика, ни психологический прецедент. Ему удалась уникальная "операция рассечения", разъятия одной жизни, одной натуры, одной личности на две половины, в реальности существования которых вскоре никто на суде не рискнул усомниться. Хотите из моих уст услышать хулу о человеке, носившем паспортное имя Соломон Вовси, — извольте, я его знаю давно, знаю лучше, чем кто бы то ни было; "я ненавидел его голос", "не мог его равнодушно слышать", "он боялся меня в том смысле, что я актер, всю жизнь изучал людей и знал их, знал и его лучше, чем кто-либо", "видел его завистливость, способную толкнуть на злобные выпады против своих собратьев по профессии..."

Нарисовав несимпатичный образ театрального честолюбца, Зускин однажды даже признался, что возможно многолетнее сотрудничество с Михоэлсом "дало себя знать и в моем характере". Но есть одно неприменное условие, за соблюдением которого он следил все месяцы и годы судебного разбирательства. Человек уступчивый и мягкий, он не позволял никому ни на час забывать, что Михоэлс и Вовси — это не один человек. Их двое. Если другие обвиняемые не заметили этого или не придали этому особого зна-

чения, то это их забота, их слепота или отсутствие душевной тонкости, которая позволила бы безошибочно фиксировать переходы одной личности в другую, Михоэlsa в Вовси и Вовси в Михоэlsa.

Настойчивое стремление быть выслушанным, — и где?! — не в свободном, вольном разговоре, а в судебном слушании, грозящем смертной казнью, — этот фантастический аргумент день за днем был все глубже вживлен в судебное разбирательство, и продержался, давая о себе знать до мая 1952 года, а затем, с начала процесса, уже и поздно было изгонять **причину** Зускина.

Зускин шел своим трагическим путем, почти неправдоподобным и все же реальным, смертным путем, пока 12 августа 1952 года пуля в затылок ни оборвала его земное существование.

Уже через три недели после ареста, 19 января 1949 года, Зускин готовит почву для самозащиты в обстоятельствах, которые могут обрушиться на него: "С Михоэлсом я был связан узами дружбы и совместной работы в Московском Еврейском театре с 1921 года. Михоэлс для меня был большим авторитетом, я его **глубоко уважал** и любил как актера..."

Обо всем другом еще придет день и час говорить, но нечто предупредительное, предвещающее возможные выпады обвинения, нужно сделать безотлагательно.

На первый же вопрос, не влияли ли на него националистические взгляды и убеждения Михоэlsa, Вениамин Львович без паузы, убежденно ответил, что на эти темы они никогда не вели разговора. У нас и повода не было заговорить о **выдуманном** **ущемлении** еврейского населения. Зускин мудро не говорит о еврейском **народе** и просто о **евреях**. Формула "население" куда безопаснее. Он предпочитает простодушно поражаться и жаловаться суду.

"На первых же допросах мне говорил, что я "государственный преступник", требуют показаний о моих преступлениях... Мне заявляют, что следствие все известно; я отвечаю, что не знаю, за что меня арестовали... Мне начинают читать чьи-то показания и требуют подтверждения, и я, находясь в полубессознательном состоянии, говорю следователю о Крыме и обо всем, о чем в действительности не имею никакого представления". И после паузы, после глубокого вздоха, вздоха безнадежности, возвращение к дому: Михоэлс, к сожалению, мертв... Его не спросишь... Сейчас и очную ставку с ним я не могу просить".

Эту горькую, печальную фразу о невозможности разговора с Михоэлсом, не с Вовси, только не с Вовси, упали Бог! — а с великим актером Михоэлсом, Зускин повторяет слишком часто. В сознании тех, кто слышит его, все привычнее становится образ "двух Михоэлсов", при том, что всякий знает, что Вовси — паспортное имя; сценическое имя Соломона Вовси и фамилия родного брата Михоэlsa, превосходного врача и одного из крупнейших медиков времен Отечественной войны. Поразительно, что все три судебных генерала, придиричивых к мелочам, к формальностям, выслушивают странные, нелепые даже, рассуждения Зускина о двух Михоэlsaх и ни разу не требуют от него уточнений.

Зускин неизменно сводит разговор к проклятию существования двух Михоэлсов. "С Михоэлсом-художником я был связан узами дружбы. Он был для меня большим авторитетом, я его глубоко уважал и любил как актера, у которого многому научился. Я старался не замечать за ним многих отвратительных черт, которые были свойственны, как человеку, только как человеку, его полному противоречий характеру". Убийственные измышления Фефера, которыми вооружилось следствие, потрясли Зускина. Казалось бы, давняя нелюбовь его к Феферу должна была заставить Зускина с недоверием отнестись к его показаниям, но пересилило другое. Трусливый, тщеславный человек в пароксизме раскаяния разрывал на

себе одежды, сам шел на казнь и, подойдя к пределу существования, выкрикнул имя своего сообщника и "вожака". Как было не поверить голосу отчаяния?!

Мысль, осенившая Зускина зимой 1949 года, зрела в тяжком, невыносимом одиночестве лубянской камеры № 82, и уже в судебном заседании он обстоятельно объяснил, как стал жертвой диковинного "двойничества" Михоэlsa. "Этот Вовси — не великий актер Михоэлс, между Михоэлсом и Вовси — колоссальная разница, этот Вовси довел меня до мысли о самоубийстве". Великий актер исчез, убит, с тем большей настойчивостью возникал перед внутренним взором Зускина "проклятый Вовси". Оказалось, что с фантомом, с призраком, бороться нисколько не проще, чем с живым противником. Нетрудно представить себе потрясение Зускина, когда ему дали прочесть одну лишь фразу из первых же показаний Фефера, фразу, якобы произнесенную Зускиным: "Еврейский театр, часто говорил мне Михоэлс, был превращен нами в орудие нашей враждебной работы".

Существование еврейского театра в огромной стране было оборвано в пору, когда победа над гитлеризмом открывала невиданные возможности для подъема театральной и всякой иной культуры еврейского народа. Кто мог предположить, что и спустя более чем полвека после разрушения фашистских режимов в Европе, театр не достигнет тех высот, до которых он поднялся во времена "Короля Лира", "Тевье молочника" или "Фрейлехса", спектакля, заставившего вспомнить вахтанговскую "Принцессу Турандот". Полвека срок большой, однако, когда речь идет не о технических достижениях, не о создании новых машин, а о такой тонкой материи, как развитие национальной культуры, всякие сроки непредсказуемо удлиняются.

Когда-то Гордон Крэг, взволнованный увиденным на сцене ГОСЕТа "Королем Лиром", сказал, что на английской сцене сейчас такой "Король Лир" невозможен и объяснил почему: "Потому что в нашем театре сегодня нет такого актера, как Михоэлс".

Давно нет такого актера. Нет и не может быть такого лица, как Вениамин Зускин. И театра такого, как ГОСЕТ, не может быть, по причине неповторимости явлений искусства. Ведь прекратилось существование не только ГОСЕТа, а и таких зрелых талантливых коллективов, как еврейские театры Киева, Минска и Одессы; нам и после войны оказалось недосуг выяснить, почему еврейская Мельпомена не возвратилась домой, в театр на Малой Бронной, чтобы попытаться там, на родной почве, возродить некогда прославленный во всем мире театр.

Учиненное лубянскими палачами уничтожение еврейской культуры, убийство сотен самых талантливых, ярчайших мастеров, стали угрозой самому их существованию. Только огромная духовная сила может противостоять такому разрушению. Должно случиться чудо, а в его первооснове всегда будут звучать два этих имени — Михоэлс и Зускин. Две корневые системы всегда будут жить-выживать и вдохновлять друг друга. В одной из них всегда будет прочитываться душа мудреца и страдальца Соломона Михоэlsa, в другой — вся доброта и поэзия, и мягкость, — это будет душа Вениамина Зускина. Они были и всегда будут братьями, королем и шутом, одного царствующего двора, одного бессмертного спектакля.

● С.М.Михоэлс и В.Л.Зускин

● Последний раз на сцене. «Король Лир», 1944г. (М.Штейман, С.Михоэлс, В.Зускин)

лидер сионизма и вождь еврейских националистов. Фефер брал на себя тяжесть любой вины, измены и предательства; брал тем легче, что главным злодеем всякий раз оказывался назначенный на эту роль мертвый Михоэлс.

За годы следствия никто, кроме Зускина, не осмеливался промолвить хотя бы слово в защиту Михоэlsa, заступиться за него, взять под сомнение обвинение его в национализме.

Странное и дерзкое, выборочное, стоящее особняком убийство в Минске народного артиста СССР, убийство с благословения самого Сталина, устранение человека, только что возвратившегося из успешной, **державной** командировки в США, — все это может быть понято только как ход в очень сложной игре. Важно было решиться на этот ход, убрать человека, на которого, мертвого, легко может быть возложена вся вина, убрать того, чье мужество и твердость, чье сопротивление разрушит весь преступный замысел. И тогда найдется второй, **другой** человек, который возьмет на себя вину, в надежде уцелеть, (быть прощенным за готовность помочь власти, кто поверит в милосердие немилосердного суда.

Понял ли это проснувшийся на Лубянке в камере № 82 Вениамин Зускин, или поначалу в страхе и мятении поверил грубо сработанному обвинению января-апреля 1949 года?

Было отчего прийти в смутнение, проникнуться смертными страхами. Но нужно было действовать, определить защитную позицию, на рискуя головой юнапрасну. А реальность была такова: во главе националистического агонора стоял, только по случайности избежавший публичной казни Михоэлс, и оставался жить на земле его "двойник", его эхо, ближайший из всех его друг и сподвижник. Тот уж с кого теперь спросят по полному счету, кто ответит за прерывание ГОСЕТа во вредительский, змеинный заповедник.

С началом следствия и во все время судебного говорения, Зускин, такой мирный, мягкий, печальный, движется навстречу беде, избегая осторожного шага. Запертый в одиночке, лишенный возможности общения с другими обвиняемыми, он близок к безумию, к отчаянию и рыву. Он будто торопится навстречу обвинению, не пытаясь умягчить всем известной близости к Михоэлу. И вдруг, в судебном заседании он испускает нечто совсем неожиданное и малопривлекательное на взгляд всех в суде. Вспоминает, что Михоэлс в последние два-три года жизни не раз заговаривал о смерти.

"Да, о смерти! — повторил Зускин, будто сам удивляясь неожиданному подарку памяти. — Часто говорил о своей близкой смерти... Говорил он это не только мне. Еще 24 ноября 1946 года, в день 25-летия моей сценической деятельности, Михоэлс подарил мне бумажник...В бумажнике я обнаружил письмо следую-

щего содержания: "Хочешь или не хочешь, так или иначе, но, если я скоро умру, ты обязан занять мое место в театре. Готовься к этому со всей серьезностью". Странно, очень странно, что здоровый и сильный Михоэлс заговорил о смерти. По показанию Зускина, он снова возвращается к этим овладевшим им мыслям: "За два-три дня до отъезда в Минск, — рокового отъезда в Минск, откуда он уже вернется в оцинкованном гробу, — я зашел к Михоэлу в кабинет в театре, после репетиции. Он встал, усадил меня царственным жестом, — хорошо памятным мне жестом короля Лира, — на место за письменным столом, и сказал: "Вот здесь, на этом кресле, ты скоро, очень скоро будешь сидеть..."

В чьем воображении родилась эта театральная сцена, добавим для полноты, провидческая сцена? В воображении убитого через неделю Михоэlsa или в потрясенном разуме самого Зускина?

Что выигрывал Зускин, объявляя судебным генералам об этих печальных и странных терзаниях Михоэlsa? Ведь не было нужды таким образом напоминать о близости к Соломону Михайловичу, — этой близости они были обречены. Но отныне Зускин серьезно выигрывал в оценке этой близости, переводе ее из служебной, прагматической плоскости, в плоскость почти мистическую, словно бы исключая близость бытовую, житейскую, в которой не ищут подтверждения или урядного объяснения. И зачем бы понадобился Михоэлу в день чужой, зускинской, репетиции, усадить Вениамина в кресло худрука, усиливая завещательный тон всей этой сцены; ведь Соломон Михайлович не репетировал новой пьесы, не репетировал и Зускин в те тревожные дни и недели.

Главный судья, генерал-полковник, все еще надеялся на успех следственной версии о преступной близости двух знаменитых еврейских актеров. Он не уставал день за днем напоминать "осиротевшему" Зускину о его близости к Михоэлсом. "Но вы ведь заявили, — упорствовал судья, — что Михоэлс был крайне обозлен, ругал Советское правительство, которое якобы издевается над евреями". Или рассерженный окрик Зускину: "Почему вы умягчаете об антисоветских взглядах Михоэlsa!"

Тогда-то в ходе следствия возникло нечто поразительное: внезапная защитная позиция, спасительный аргумент, который я назвал бы потрясающим, а то и гениальным, если бы был уверен, что этот ход обдуманый, взвешенный, а не рожден вдохновением минуты, мига, смутным, инстинктивным прозрением.

"Нет! Нет! — громко закричал Зускин. Следователь плохо понял: на свете был не один Соломон Михоэлс, их было двое; всегда двое! Великий лицедей Михоэлс и плохой человек — Вовси. С этим Вовси у нас с декабря 1939 года и до конца его жизни, до гибели в Минске, была грязня..."